

**Тексты олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
(2014–2015 уч. год)**

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ

Первый тур

Проза

9 класс	10 класс	11 класс
В.Астафьев Старая лошадь	В.Аксёнов Победа	М.Осоргин Часы

Поэзия

9 класс	10 класс	11 класс
Ю.Левитанский Как показать зиму	Н.Заболоцкий Чертополох	В.Ходасевич Дактили

9 класс

Задание: Выполните целостный анализ прозаического или стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР) текста

Виктор Астафьев

Старая лошадь

– Стоит? – спросил сержант Данила у разведчика Ванягина, дежурившего возле стереотрубы.

– Стоит, – глухо ответил Ванягин, уступив место на чехле от стереотрубы сержанту Даниле – командиру отделения разведки.

Отделённый долго и сосредоточенно обозревал окрестности, затем остановил зоркие глаза прибора на одном месте.

– Скажи ты на милость, – заговорил он, раздражённо хлопая себя по карманам в поисках курева. – Три дня стоит! – и в голосе его просквозила жалость.

Ванягин вздохнул:

– Три дня... – и дал ему прикурить.

Они курили, яростно затягиваясь горькой махоркой, и молчали. Но и так понимали друг друга, оттого что думали об одном и том же, хотя были разными людьми. Сержант

Данила был в годах. Среди молодых, скорых на слово и ловких разведчиков он выглядел чужевато, смущался тем, что находится не у места, и два раза в году просился на обыкновенную службу, к обыкновенным пехотинцам.

Ванягин был из рабочих, специалист по шлифовке паровозных бронзовых вкладышей. На сержанта Данилу он походил только волосом – оба рыжие, да ещё тем, что во время работы не любил разговаривать. К этому приучило его тонкое шлифовальное дело.

Он-то первый и назвал сержанта дядей Данилой, за что получил взыскание от щеголеватого комбата и полдня спал без обмоток в глубокой щели, называемой «губой», куда принесли для него соломы дисциплинированные солдаты.

То ли понравилось Ванягину на «губе», то ли был он упорным человеком, но наказание не пошло ему впрок, и вопрос чинопочитания он решил по-своему – стал звать отделённого сержантом Данилой. Звание это разошлось по всему полку.

И тут уж ни комбат, ни кто другой не в силах были что-либо сделать.

Цигарка накалила ноготь, затрещала в пальцах, и сержант Данила кинул её под каблук.

– Как ты думаешь? – хрипловато спросил он и прокашлялся. – Как, говорю, думаешь, долго она ещё? – и кивнул головой в сторону нейтральной полосы.

– Кто её знает, – пожал плечами Ванягин. – Они ведь живучие попадают.

Сержант Данила на секунду прислонился к стереотрубе и опять полез за кисетом:

– Всё стоит, всё стоит...

На нейтральной полосе, среди бородавчатых, засохших кочек вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, опустив голову. С дряблых, полуоткрытых губ её тянулась кровавая слюна. Когда на неё смотрели в стереотрубу, она почти вплотную подвигалась к окулярам, и в большом глазу её можно было заметить тупую боль, тоску и недоумение.

Земля поддерживала её. Та земля, на которую она ступила когда-то белолобым жеребёнком, приветствуя мир радостным, переливчатым голосишком. Когда ноги у жеребёнка сделались резвыми и струйка гривы потекла по гибкой шее, он принялся покусывать круп матери и гонять молодых кобылиц. Когда он вырос, его стали запрягать. Он взвился на дыбы и протестующе закричал, когда завели его первый раз в оглобли. Но в оглоблях, да ещё с удилами во рту, трудно протестовать, и он побежал, а потом побрёл по дороге, убегающей вдаль, к горизонту.

С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли, конец дороги и он доведёт тяжёлую поклажу и увидит что-то неведомое.

Выпадали дни, даже целые недели, когда отпускали спутанную конягу на волю, и она култыхала одна себе по прохладной траве, в прохладной темноте и слушала голос дергача.

Конюх водил её на водопой к речке, и она долго, смачно тянула воду губами, а человек длинно посвистывал ей, может быть думая, что под мерный и тихий свист коню слаще пьётся.

Менялись поклажи: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная бочка, а дороге не было конца. Она вела конягу и вела и вот привела туда, где грохот, сутолока, крики.

Сперва коняга прыдала ушами, пятилась и храпела, рвала со страха постромки. Её то гоняли во весь дух люди с вытаращенными глазами, то заставляли шагать тихонько, с ленцой, убаюкивая длинной, как дорога, песней.

Однажды её впрягли в повозку вместе с двумя молодыми, горячими лошадьми. Их гнали прямо по подсолнечнику, кукурузе.

Было дымно и жарко.

Молодые лошади скакали по бокам, на ходу хватили сочные побеги кукурузы и глотали их, захлёбываясь слюной.

А коняга не могла. Ноги её слабели, заплетались, делались непослушными.

Та лошадь, что бежала справа, вдруг упала и взбила пыль ногами, а другая раскачивалась и сипло дышала, выворачивая мягкие ноздри, из которых ключами била кровь. И эта лошадь упала и потянула за собой старую конягу. Она шире расставила ноги, упёрлась. Её душила упряжь, но она не хотела падать.

С повозки поднялся человек, вынул нож, обрезал постромки. Дышать сделалось легче.

Человек погладил рёбра коняги, ободьями выступившие на боках:

– Ну, милый, только на тебя надежда, выручай!

И старая коняга, видно, поняла человека, напряглась и потянула повозку дальше от грохота, сумятицы, воплей. Там, где попадались борозды или воронки, лошадь ступала осторожно, однако повозка всё равно накренивалась, и с неё неслись стоны и ругань. Наконец лошадь подсмотрела лесную дорогу и свернула на неё.

Возле палаток с красными крестами коняга остановилась, расслабила мускулы, задумчиво опустила голову.

Раненых унесли. Не ожидая, когда её хлестнут и погонят, коняга отошла в сторону и принялась выстригать из мятых кустов переросший пырей крупными, наполовину съеденными зубами.

Вскоре и её зацепило. В бок тупо шибануло, она рванулась было, но повозки сдвинуть не смогла. Ещё раз рванулась, словно бы не поверив тому, что произошло, и почувствовала слабость в ногах и горячую боль внутри.

Это случилось на высохшем болотце. Здесь ещё с весны остались отпечатки следов птиц и рос небольшой пучок лабазника. Сгоряча она объела его, по давней привычке с толком используя остановку, но белый душистый цвет лабазника лишь обнюхала.

Пошумел, пошумел на неё с повозки прихрамывающий на одну ногу солдат, потом с кряхтением обошёл вокруг, покачал головой. Сказав: «Когда это война только и кончится?» – он снял с лошади хомут.

Вечером он привёл другого коня, надел на него хомут. Потник на хомуте был вытерт до блеска шеей старой коняги.

– Отвоевался, трудяга! – тихо молвил повозочный и ушёл, потрогав на прощанье конягу за спутанную гриву.

Так она и осталась на поле одна, всеми брошенная, никому не нужная. Запах лабазника щекотал в ноздрях. Ей виделся прохладный лес и за ним волнующееся море овса, которого она давно уже не едала досыта.

До самой ночи она ещё чего-то ждала, а затем, судорожно дёргаясь, как спутанная, двинулась неизвестно куда. Ей хотелось к людям, но кругом было темно, и глаза тоже застилала темень. Природное чутьё изменило ей, и она, выбившись из сил, остановилась. Она не заржала, а только робко зашелестела губами.

Никто не отозвался, никто не пришёл на её робкий призыв. Так и стояла она между двумя враждебными мирами, в самом центре войны. Она будто знала, что если упадёт, то больше никогда не поднимется и не увидит той дороги, что звала её вперёд и обещала что-то...

Сержант Данила ещё раз кинул сигарку под каблук и ещё раз глянул в стереотрубу, должно быть на что-то надеясь.

– Хотел сам – рука не поднимается... – Он опустил голову и после продолжительного молчания произнёс: – Крестьяне бить лошадей могут вожжами там либо кнутом, но убивать – нет, потому он, конь, – работник.

Так длинно и с неловкими намёками он ещё никогда не разговаривал.

– Конечно, конечно, – будто ничего не понимая, заторопился Ванягин. – Без коня у вас никуда. – И замолк, потому что сержант Данила поднял голову и пристально взглянул на него. Он мог бы приказать Ванягину, но не приказывал.

Ванягин не выдержал взгляда сержанта и опустил глаза. Лицо его сразу сделалось виноватым, будто у напроказившего парнишки.

– Скоро смену пришло.

Ванягин слышал, как осыпалась земля с бруствера. Траншеи для сержанта Данилы всегда были узкими. «Слава богу», – облегчённо подумал Ванягин, когда шаги сержанта затихли и стало ясно, что отделённый не вернётся.

Ещё никогда не тянулось так мучительно время на дежурстве, как в эти три дня.

Сменщик, Яшка Голоухин, побывавший в тылу врага с десантом и считающий, что ему теперь всё нипочём, ввалился в ячейку с шумом:

– Артпривет наблюдателю! Дежури́м? Много точек засёк?

– Одну.

– Маловато.

Он, не сядясь, припал к окуляру стереотрубы, повертел колёсико и засмеялся:

– Вот это я понимаю – советский конь! Стоит на виду у фашистов и показывает непоколебимость. Если, мол, умру, так стоя!..

– Ну ты, звонарь! – неожиданно замахнулся на него Ванягин.

– Ты чего? – попятился Яшка от Ванягина, разом пришедшего в свирепость.

– Ничего! – гаркнул Ванягин и, схватив карабин, вымахнул из окопчика.

Ползти было трудно – укрытий никаких. Ванягин плотно прижимался к земле, а потом понял, что это бесполезно, поднялся и пошёл неторопливо и даже как-то задумчиво, словно бы на прогулке.

– Срежут! Псих ненормальный! – заорал Яшка, когда наконец пришёл в себя.

Но Ванягин дошёл до коняги, приложился и выстрелил ей в голову.

Старая коняга качнулась, узловатые, надсаженные колени её подломились, и она рухнула на землю. Судорога пробежала от шеи до задних ног её, и она вытянулась, протяжно, с облегчением вздохнув в последний раз.

Ванягин со злостью выбросил дымящуюся гильзу и пошёл обратно.

Лошадь та снится Ванягину и по сей день...

1958

Юрий Левитанский

**Как показать зиму
(из цикла «Кинематограф»)**

...НО ВОТ ЗИМА,
и чтобы ясно было,

что происходит действие зимой,
я покажу,
как женщина купила
на рынке ёлку
и несёт домой,
и вздрагивает ёлочкино тело
у женщины над худеньким плечом.
Но женщина тут, впрочем,
ни при чём.
Здесь речь о ёлке.
В ней-то всё и дело.
Итак,
я покажу сперва балкон,
где мы увидим ёлочку стоящей
как бы в преддверье
жизни предстоящей,
всю в ожидание близких перемен.
Затем я покажу её в один
из вечеров
рождественской недели,
всю в блеске мишуры и канители,
как бы в полёте всю,
и при свечах.
И наконец,
я покажу вам двор,
где мы увидим ёлочку лежащей
среди метели,
медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.
Безлюдный двор
и ёлка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой,

ах, боже мой,
как время пролетело.
Что день хоть и длинней, да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.
Здесь речь о ёлке.
В ней-то всё и дело.

[1970]

10 класс

Задание: Выполните целостный анализ прозаического или стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР) текста

Василий Аксёнов

Победа

Рассказ с преувеличениями

В купе скорого поезда гроссмейстер играл в шахматы со случайным спутником.

Этот человек сразу узнал гроссмейстера, когда тот вошёл в купе, сразу загорелся немыслимым желанием немыслимой победы над гроссмейстером. «Мало ли что, – думал он, бросая на гроссмейстера лукавые узнающие взгляды, – мало ли что, подумаешь, хилак какой-то».

Гроссмейстер сразу понял, что его узнали, и с тоской смирился: двух партий по крайней мере не избежать. Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из окон Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы таких людей.

Когда поезд тронулся, спутник гроссмейстера с наивной хитростью потянулся и равнодушно спросил:

– В шахматишки, что ли, сыграем, товарищ?

– Да, пожалуй, – пробормотал гроссмейстер.

Спутник высунулся из купе, кликнул проводницу, появились шахматы, он схватил их слишком поспешно для своего равнодушия, высыпал, взял две пешки, зажал их в кулаки и кулаки показал гроссмейстеру. На выпуклости между большим и указательным пальцами левого кулака татуировкой было обозначено «Г.О.».

– Левая, – сказал гроссмейстер и чуть поморщился, вообразив удары этих кулаков,

левого или правого.

Ему достались белые.

– Время-то надо убить, правда? В дороге шахматы – милое дело, – добродушно приговаривал Г.О., расставляя фигуры.

Они быстро разыграли северный гамбит, потом всё запуталось.

Гроссмейстер внимательно глядел на доску, делая мелкие, незначительные ходы. Несколько раз перед его глазами молниями возникали возможные матовые трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки и подчиняясь слабо гудящей внутри занудливой, жалостливой ноте, похожей на жужжание комара.

– «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...», – на той же ноте тянул Г.О.

Гроссмейстер был воплощённая аккуратность, воплощённая строгость одежды и манер, столь свойственная людям, неуверенным в себе и легко ранимым. Он был молод, одет в серый костюм, светлую рубашку и простой галстук. Никто, кроме самого гроссмейстера, не знал, что его простые галстуки помечены фирменным знаком «Дом Диора». Эта маленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодого и молчаливого гроссмейстера. Очки также довольно часто выручали его, скрывая от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он сетовал на свои губы, которым свойственно было растягиваться в жалкой улыбочке или вздрагивать. Он охотно закрыл бы от посторонних глаз свои губы, но это, к сожалению, пока не было принято в обществе.

Игра Г.О. поражала и огорчала гроссмейстера. На левом фланге фигуры столпились таким образом, что образовался клубок шарлатанских каббалистических знаков, было похоже на настройку халтурного духового оркестра, жёлто-серый слежавшийся снег, глухие заборы, цементный завод. Весь левый фланг пропах уборной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на кухне, а также тянуло из раннего детства касторкой и поносом.

– Ведь вы гроссмейстер такой-то? – спросил Г.О.

– Да, – подтвердил гроссмейстер.

– Ха-ха-ха, какое совпадение! – воскликнул Г.О.

«Какое совпадение? О каком совпадении он говорит? Это что-то немыслимое! Могло ли такое случиться? Я отказываюсь, примите мой отказ», – панически быстро подумал гроссмейстер, потом догадался, в чём дело, и улыбнулся.

– Да, конечно, конечно.

– Вот вы гроссмейстер, а я вам ставлю вилку на ферзя и ладью, – сказал Г.О. Он поднял руку. Конь-provокатор повис над доской.

«Вилка в зад, – подумал гроссмейстер. – Вот так вилочка! У дедушки была своя

вилка, он никому не разрешал ею пользоваться. Собственность. Личные вилка, ложка и нож, личные тарелки и пузырёк для мокроты. Также вспоминается “лирная” шуба, тяжёлая шуба на “лирном” меху, она висела у входа, дед почти не выходил на улицу. Вилка на бабушку и бабушку. Жалко терять стариков».

Пока конь висел над доской, перед глазами гроссмейстера вновь замелькали светящиеся линии и точки возможных предметных рейдов и жертв.

Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен, что гроссмейстер только пожал плечами.

– Отдаёте ладью? – спросил Г.О.

– Что поделаешь.

– Жертвуете ладью ради атаки? Угадал? – спросил Г.О., всё ещё не решаясь поставить коня на желанное поле.

– Просто спасаю ферзя, – пробормотал гроссмейстер.

– Вы меня не поддавливаете? – спросил Г.О.

– Нет, что вы, вы сильный игрок.

Г.О. сделал свою заветную «вилку». Гроссмейстер спрятал ферзя в укромный угол за террасой, за полуразвалившейся каменной террасой с резными подгнившими столбиками, где осенью остро пахло прелыми кленовыми листьями. Здесь можно отсидеться в удобной позе, на корточках. Здесь хорошо, во всяком случае, самолюбие не страдает. На секунду привстав и выглянув из-за террасы, он увидел, что Г.О. снял ладью.

Внедрение чёрного коня в бессмысленную толпу на левом фланге, занятие им поля, занятие им поля «b4», во всяком случае, уже наводило на размышления.

Гроссмейстер понял, что в этом варианте, в этот весенний зелёный вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Всё это верно, в мире бродят славные дурачки – юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мери и Нелли, и бригаantina поднимает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость чёрного коня на поле «b4». Предстояла борьба, сложная, тонкая, увлекательная, расчётливая. Впереди была жизнь.

Гроссмейстер выиграл пешку, достал платок и высморкался. Несколько мгновений в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком, настроили его на банально-философический лад. «Вот так добиваешься чего-нибудь, – думал он, – а что дальше? Всю жизнь добиваешься чего-нибудь; приходит к тебе победа, а радости от неё нет. Вот, например, город Гонконг, далёкий и весьма загадочный, а я в нём уже был. Я везде уже был».

«На его месте Петросян бы уже сдался», – подумал гроссмейстер.

Потеря пешки мало огорчила Г.О.: ведь он только что выиграл ладью. Он ответил гроссмейстеру ходом ферзя, вызвавшим изжогу и минутный приступ головной боли.

Гроссмейстер сообразил, что кое-какие радости ещё остались у него в запасе. Например, радость длинных, по всей диагонали, ходов слона. Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света в тень, из тени в свет. Гроссмейстер почувствовал непреодолимое страстное желание захватить поле «h8», ибо оно было полем любви, бугорком любви, над которым висели прозрачные стрекозы.

– Ловко вы у меня отыграли ладью, а я прохлопал, – пробасил Г.О., лишь последним словом выдав своё раздражение.

– Простите, – тихо сказал гроссмейстер. – Может быть, вернёте ходы?

– Нет-нет, – сказал Г.О., – никаких поблажек, очень вас умоляю.

– «Дам кинжал, дам коня, дам винтовку свою...», – затянул он, погружаясь в стратегические размышления.

Бурный летний праздник любви на поле «h8» радовал и вместе с тем тревожил гроссмейстера. Он чувствовал, что вскоре в центре произойдёт накопление внешне логичных, но внутренне абсурдных сил. Опять послышится какофония и запахнет хлоркой, как в тех далёких проклятой памяти коридорах на левом фланге.

– Вот интересно: почему все шахматисты – евреи? – спросил Г.О.

– Почему же все? – сказал гроссмейстер. – Вот я, например, не еврей.

– Правда? – удивился Г.О. и добавил: – Да вы не думайте, что я это так. У меня никаких предрассудков на этот счёт нет. Просто любопытно.

– Ну, вот вы, например, – сказал гроссмейстер, – ведь вы не еврей.

– Где уж мне! – пробормотал Г.О. и снова погрузился в свои секретные планы.

«Если я его так, то он меня так, – думал Г.О. – Если я сниму здесь, он снимет там, потом я хожу сюда, он отвечает так... Всё равно я его добью, всё равно доломаю. Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила ещё у тебя тонкая против меня. Знаю я ваши чемпионаты: договариваетесь заранее. Всё равно я тебя задавлю, хоть кровь из носа!»

– Да-а, качество я потерял, – сказал он гроссмейстеру, – но ничего, ещё не вечер.

Он начал атаку в центре, и, конечно, как и предполагалось, центр сразу превратился в поле бессмысленных и ужасных действий. Это была не-любовь, не-встреча, не-надежда, не-привет, не-жизнь. Гриппозный озноб и опять жёлтый снег, послевоенный неуют, всё тело чешется. Чёрный ферзь в центре каркал, как влюблённая ворона, воронья любовь, кроме того, у соседей скребли ножом оловянную миску. Ничто так определённо не доказывало бессмысленность и призрачность жизни, как эта позиция в центре. Пора

кончать игру.

«Нет, – подумал гроссмейстер, – ведь есть ещё кое-что, кроме этого».

Он поставил большую бобину с фортепьянными пьесами Баха, успокоил сердце чистыми и однообразными, как плеск волн, звуками, потом вышел из дачи и пошёл к морю. Над ним шумели сосны, а под босыми ногами был скользкий и пружинящий хвойный наст.

Вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизировать её. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская сода, наступил мат чёрным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завершённая, как яйцо. Гроссмейстер посмотрел на Г.О. Тот молчал, набычившись, глядя в самые глубокие тылы гроссмейстера. Мата своему королю он не заметил. Гроссмейстер молчал, боясь нарушить очарование этой минуты.

– Шах, – тихо и осторожно сказал Г.О., двигая своего коня. Он еле сдерживал внутренний рёв.

...Гроссмейстер вскрикнул и бросился бежать. За ним, топоча и свистя, побежали хозяин дачи, кучер Еврипид и Нина Кузьминична. Обгоняя их, настигала гроссмейстера спущенная с цепи собака Ночка.

– Шах, – ещё раз сказал Г.О., переставляя своего коня, и с мучительным вождением глотнул воздух.

...Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей толпы. Идущий сзади чуть касался его спины каким-то твёрдым предметом. Человек в чёрной шинели с эсэсовскими молниями на петлицах ждал его впереди. Шаг – полсекунды, ещё шаг – секунда, ещё шаг – полторы, ещё шаг – две... Ступеньки вверх. Почему вверх? Такие вещи следует делать в яме. Нужно быть мужественным. Это обязательно? Сколько времени занимает надевание на голову вонючего мешка из рогожи? Итак, стало совсем темно и трудно дышать, и только где-то очень далеко оркестр бравурно играл «Хас-Булат удалой».

– Мат! – как медная труба, вскрикнул Г.О.

– Ну, вот видите, – пробормотал гроссмейстер, – поздравляю!

– Уф, – сказал Г.О., – уф, ух, прямо запарился, прямо невероятно, надо же, чёрт возьми! Невероятно, залепил мат гроссмейстеру! Невероятно, но факт! – Захохотал он.

– Ай да я! – Он шутливо погладил себя по голове. – Эх, гроссмейстер вы мой, гроссмейстер, – жаждал он, положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал, – милый вы мой молодой человек... Нервишки не выдержали, да? Сознаться?

– Да-да, я сорвался, – торопливо подтвердил гроссмейстер.

Г.О. широким свободным жестом смёл фигуры с доски. Доска была старая,

щерблёная, кое-где поверхностный полированный слой отодрался, обнажена была жёлтая, измученная древесина, кое-где имелись фрагменты круглых пятен от поставленных в былые времена стаканов железнодорожного чая.

Гроссмейстер смотрел на пустую доску, на шестьдесят четыре абсолютно бесстрастных поля, способных вместить не только его собственную жизнь, но бесконечное число жизней, и это бесконечное чередование светлых и тёмных полей наполнило его благоговением и тихой радостью. «Кажется, – подумал он, – никаких крупных подлостей в своей жизни я не совершал».

– А ведь так вот расскажешь, и никто не поверит, – огорчённо вздохнул Г.О.

– Почему же не поверят? Что же в этом невероятного? Вы сильный, волевой игрок, – сказал гроссмейстер.

– Никто не поверит, – повторил Г.О., – скажут, что брешу. Какие у меня доказательства?

– Позвольте, – чуть обиделся гроссмейстер, глядя на розовый крутой лоб Г.О., – я дам вам убедительное доказательство. Я знал, что я вас встречу.

Он открыл свой портфель и вынул оттуда крупный, с ладонь величиной золотой жетон, на котором было красиво выгравировано: «Податель сего выиграл у меня партию в шахматы. Гроссмейстер такой-то».

– Остаётся только проставить число, – сказал он, извлёк из портфеля гравировальные принадлежности и красиво выгравировал число в углу жетона.

– Это чистое золото, – сказал он, вручая жетон.

– Без обмана? – спросил Г.О.

– Абсолютно чистое золото, – сказал гроссмейстер. – Я заказал уже много таких жетонов и постоянно буду пополнять запасы.

Февраль 1965

Николай Заболоцкий

Чертополох

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод.
Эти звёзды с острыми концами,
Эти брызги северной зари

И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мироздания,
Организм, сплетённый из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей,
Это башня ярости и славы,
Где к копыю приставлено копъё,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны моё.
Снилась мне высокая темница
И решётка, чёрная, как ночь,
За решёткой – сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встаёт стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простёрся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор её неугасимых глаз.

1956

11 класс

Задание: Выполните целостный анализ прозаического или стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР) текста

Михаил Осоргин

Часы

Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но ещё прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трёх лепестках. Ещё была к прибору гостя – фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.

На свете, на всём белом свете – а уж на что он велик! – не было комнаты чище бабушкиной. Всё, что от природы было блестящим, – блестело; всё, что было старо и поизносилось от времени, – сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.

Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны ещё два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.

Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шёлковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Ещё было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях – от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видала трёхлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.

И ещё, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трёх колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это

было устроено – знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не устывая отбивать час, половину и четверти.

Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти – два, вместо двух – одиннадцать, вместо одиннадцати – восемь и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью – значит, четверть седьмого, нужно только прибавить три.

И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку – единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень – значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.

И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их – неизвестно. А потом – прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять – значит, восемь, а восемь – значит, одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.

Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трёхлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и весёлого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошёл этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, – в старости слёзы льются и от радости и от горя совсем одинаково.

Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.

Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолёте из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чём бабушка и читала и слышала, но ещё не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный её внук Ванечка. А пройдёт неделя – и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него,

потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьёт большую поповскую чашку в два глотка.

– И всё же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай, – не ровен час что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастья.

Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царство ему небесное.

Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчётливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:

– Это почему же, бабушка, они так мало бьют?

Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.

– Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.

– Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.

И опять заговорил о разном, и пока не прозвонили снова далёкие колокольчики, что прошло ещё полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:

– Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далёкой деревушке. Жаль только, что они испорчены.

Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся её старинные часы.

Когда инженер заторопился уходить, – опаздывал на важное свидание, – бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.

– Это что, бабушка?

– А это – положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты её побереги, места займёт немного, а иногда посмотришь.

– Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!

И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:

– Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.

И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:

– Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?

– Есть бумага, Ванечка.

– Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдёт.

Потом быстро подошёл к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу:

– Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить, сколько нужно, совсем правильно.

– Ванечка, да мне не нужно!

Но он и слышать не хотел. Подошёл, поцеловал бабушку в обе щёки и убежал со свёртком шумно и весело, как все молодые.

* * *

Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и всё же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далёкие звонкие колокольчики, – а вот их нет. Были разные думы, во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по её часам тяжёлым молотом и – дзынь! – часы рассыпались. Старалась утешить себя:

– Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.

А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занёс часы:

– Ну, бабушка, теперь всё хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.

Прошумел и исчез.

Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести её тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждёт.

И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий её столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.

Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют пять – значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно.

«Главное – Ванечке приятно, – думала бабушка. – Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну».

Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять, – ой, проспала! – а оказывается, и действительно всего-навсего пять часов.

Старый человек иногда загрустит, а отчего – и сам не знает. О чём-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а всё-таки жили, и не хуже жили.

За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далёкими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает – всё же слушает. Слов нет – бьют часы верно и ни в чём не стали хуже. Однако радости в их бое нет – да и чему старухе радоваться.

Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены.

В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась – и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожидание: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили – всё продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась – сон совсем ушёл. Зажгла свет, посмотрела, всё правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет – на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось – и волнение.

Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.

Было самой немного стыдно: «И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!»

И решила: «Подожду до четверти да и лягу».

Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:

– Раз, два...

А вместо третьего, четвёртого и пятого – изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.

Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы – подумала: да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибёшься? Ведь если сказать по чистой совести – ведь этого и ждала она, сидя

на стуле в ночной час. Сама себе не сказала – а ждала: пять ли пробьют или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!

И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.

Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась, – а сна нет, хочется ещё услышать, как будут часы бить половину.

Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нащёптывали: «Теперь уж будьте покойны, всё будет по-старому!» А как подошло время к половине шестого – звоном колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.

И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон её был лёгок, а новый день её был светел и полон неутомительной суеты.

1934

Владислав Ходасевич

Дактили

1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкой кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, весёлый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

2

Был мой отец шестипалым. Такими рождаются счастливыцы.
Там, где груши стоят подле зелёной межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье своё.
В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть – это ты!

3

Был мой отец шестипалым. Бывало, в сороку-ворону
 Станем играть вечерком, сев на любимый диван.
 Вот, на отцовской руке старательно я загибаю
 Пальцы один за другим – пять. А шестой – это я.
 Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой
 Тех пятерых прокормил – только меня не успел.

4

Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
 Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
 Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
 Память о прошлом своём, скорбь о святом ремесле.
 Ставши купцом по нужде – никогда ни намёком, ни словом
 Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.

5

Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
 Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
 Мир созерцает художник – и судит, и дерзкою волей,
 Демонской волей творца – свой созидает, иной.
 Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
 Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

6

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,
 Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
 Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
 Ставит на слово, на звук – душу свою и судьбу...
 Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
 И шестипалой строфой сын поминает отца.

Январь 1927 – 3 марта 1928, Париж

